

© 1991 г.

ХАБУРГАЕВ Г. А.

ПРОБЛЕМА ДИГЛОССИИ И ЮЖНОСЛАВЯНСКИХ ВЛИЯНИЙ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

**(В связи с книгой Б. А. Успенского «История русского
литературного языка /XI—XVII вв./»)**

Первым систематическим изложением истории русского литературного языка принято считать книгу В. В. Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» во втором ее издании, выпущенном в 1938 г. В предисловии автор недвусмысленно разъяснял читателю, что предметом этой дисциплины он считает становление и последующее развитие с о в р е м е н н о г о русского литературного языка, формировавшегося на протяжении XVIII в. (см. [1, с. 3—4]), ибо, как гласит первая же фраза текста самой книги, «русским литературным языком эпохи средневековья был язык церковнославянский» ([1, с. 5]; ср. [2]), история которого, следовательно, составляет предмет п р е д ы с т о р и и современного русского литературного языка. Этой предыстории, т. е. церковнославянскому языку русского извода, и посвящена последняя книга Б. А. Успенского.

В исторической русистике наметилась тенденция двоякого употребления терминологического сочетания «церковнославянский язык»: для обозначения языка «наиболее авторитетных канонических текстов, составляющих ядро древнерусской книжности», и для указания на книжно-литературный язык древней и позднесредневековой Руси во всех его вариантах, группирующихся вокруг этого ядра (см. [3, с. 46]). В книге Б. А. Успенского церковнославянский рассматривается главным образом в первом, более узком объеме — как язык церковных книг; языка оригинальных произведений автор практически не анализирует, если не считать фрагмента, посвященного типам древнерусских текстов (где, однако, даже не упоминаются произведения светской литературы, дошедшие до нас в списках не ранее конца XIV в., — см. с. 59—72), отдельных параллелей, иллюстрирующих ориентацию средневековых авторов на нормы языка церковных книг, а также обсуждения проблемы «простой русской мовы» в связи с разрушением диглоссии на подходе к новому времени (см. с. 260 и далее).

При нынешнем состоянии истории русского литературного языка как научной и учебной дисциплины, когда, в частности, продолжают поиски объективных критериев оценки языка различных по жанру произведений средневековой восточнославянской словесности (см. [4, с. 48 и далее]), интерес Б. А. Успенского к процессам становления и последующей нормализации языка церковных книг вполне оправдан. Нельзя не согласиться с автором, что объективное «исследование языка литературы предполагает в качестве необходимого условия знание литературного языка» как с и с т е м ы к о д и ф и ц и р о в а н н ы х н о р м, состав-

ляющей «тот фон, на котором реализуется творческая активность отдельных авторов» и без учета которого невозможно оценить стилистическое своеобразие того или иного писателя (см. с. 1).

В эпоху средневековья функцию кодификации выполняли образцовые произведения (см. [5]), на язык которых и ориентировались авторы оригинальных сочинений (эту очень характерную для древнеславянских книжников ориентацию на текст — на литературный образец, а не на грамматику — Н. И. Толстой удачно охарактеризовал как текстологическую [6, с. 109]). И если реально оценивать идеологические позиции деятелей средневековой культуры, то придется признать, что для них «...источниками нормы, образцами могли становиться те тексты, которые получали общественное признание и значение прежде всего по своему содержанию, почти безотносительно к достоинствам своего языка.... По этим признакам среди произведений древней славянорусской письменности на первое место выходят Евангелие и Псалтырь, а за ними прочие библейские книги» ([7]; ср. [6, с. 36]), язык которых как раз и находится в центре исследовательского внимания Б. А. Успенского, настаивающего на том, что в XI—XVII вв. «наиболее показательными для суждения о литературном (ц-сл.) языке оказываются канонические памятники» (с. 59).

Вводная часть книги Б. А. Успенского, посвященная предмету истории литературного языка и его характеру в зависимости от типа культурно-языковой ситуации¹, содержит скрытую полемическую направленность, хотя автор и не вступает в «прямую» полемику со своими оппонентами, подчиняясь требованиям жанра (книга писалась как учебное пособие, а не монография). Учитывая, что «история литературного языка нередко понимается как история языка литературы», и отстаивая собственно лингвистический подход к объекту описания, противопоставляемый им лингво-литературоведческому, Б. А. Успенский размежевывает эти два подхода афористической формулировкой: «История литературного языка — это история н о р м ы. Между тем, история языка литературы — это история отклонений от н о р м ы» (с. 1).

Не ограничивая предмет истории литературного языка только первым членом намеченной автором оппозиции, признаем, однако, что «отклонения от нормы» (в том числе и по отношению к прошлому), во-первых, ощутимы лишь тогда, когда сама норма доподлинно известна², во-вторых, представляют интерес для истории литературного языка лишь постольку, поскольку они оказываются не индивидуальными (не принадлежностью стиля отдельного писателя), а регулярными для группы текстов, т. е. являются характеристиками определенных жанров или типов памятников. В этой связи материал, представленный Б. А. Успенским, должен восприниматься как необходимый стержень, которому предстоит обрести исследованиями, посвященными особенностям функционирования книжно-языковых норм в разных областях средневекового письменности.

¹ Б. А. Успенский говорит всегда о «языковой ситуации», хотя имеются в виду отношения между народно-разговорной речью и языком культуры пользующегося этой речью социума, а не взаимоотношения между разными языками бытового общения, что для Древней Руси, объединившей разноязычные племена Восточной Европы, чрезвычайно актуально, но с проблематикой истории литературного языка не связано. Этот, казалось бы, чисто терминологический нюанс сказывается, однако, как увидим в дальнейшем, на содержании обсуждаемой проблемы.

² Язык произведений А. С. Пушкина, признаваемый сегодня образцово нормативным, воспринимался современниками поэта как отклонение от нормы чуть ли не в каждой строке. Но филолог XX в. может понять это только при условии, если ему хорошо известны нормативно-языковые установки начала XIX столетия.

литературного творчества (см., например [8]), коль скоро сам он, отстранившись от текстов, содержащих «отклонения от нормы», границ функционирования выявленных им норм не намечает, но зато предлагает исследователям языка древнерусских сочинений тот эталон, на который неизбежно ориентировались их авторы. При этом следует учитывать, что оценка «литературности» языка различных типов памятников должна опираться на данные орфографии (с учетом стоящей за нею книжной орфоэпии) и грамматики, но не лексики, которая «наименее показательна при различении книжного и некнижного языка, поскольку лексический уровень характеризуется вообще большей проницаемостью, чем другие языковые уровни» (с. 52). «Отсюда очевидно, насколько нецелесообразны попытки охарактеризовать язык памятника, определяя в нем соотношение „церковнославянских“ и „русских“ лексем, т. е. генетических славянизмов и генетических русизмов», ибо противопоставление церковнославянского и русского «в языковом сознании осуществляется не за счет лексических оппозиций» (с. 53; ср. [9]).

Признание неодинаковой значимости разных уровней языковой структуры при определении степени «литературности» языка средневековых текстов — очень важная особенность книги Б. А. Успенского. В частности, с учетом нерелевантности лексических оппозиций, например, «язык летописей нередко предстает как русифицированный», но тем не менее церковнославянский, о чем «определенно свидетельствует последовательное употребление аориста и имперфекта, а также синтаксические характеристики» (с. 66; ср. выводы А. С. Львова о том, что в Повести временных лет, содержащей заметный слой народно-разговорной лексики, «все восточнославянские слова и обороты речи облекались в книжные формы. Это значит, что нормой литературного языка были формы, принятые для церковных книг» [10]). Эта оценка, признающая структурное единство языка древнерусских летописей, является шагом вперед по сравнению с прежней характеристикой летописного текста как такого, где якобы наблюдается «постоянная смена языкового кода..., т. е. переходы от церковнославянского к русскому языку и наоборот» (см. [11, с. 45]). И именно с этих позиций Б. А. Успенский присоединяется к мнению, что «даже и при наличии славянизмов язык Русской Правды безусловно остается некнижным рус. языком», особенно если учесть, что «этому языку не учили» (с. 67).

Исходя из того, что «русским литературным языком средневековья был церковнославянский», сложившийся в процессе русификации старославянского языка первых переводов христианской литературы, после того как он был принят Киевской Русью вместе с христианской религией, Б. А. Успенский очень подробно рассматривает обстоятельства появления на Руси церковных книг и распространения славянской грамоты (с. 22—39), а также роль греческого компонента в средневековой русской культуре (с. 31—40). В отечественной литературе практические впервые за последние полвека (после работ Н. К. Никольского) обсуждается проблема взаимоотношений древнерусской книжности на начальном этапе ее развития с западнославянскими культурными традициями, которые по крайней мере до середины XI в. (до официального разделения церквей) представляются более естественными, чем непосредственные контакты с южными славянами (ср. [12, с. 17]). Соответствующий этюд, в котором обобщен накопленный к настоящему времени материал о ранних культурных связях славянского Востока и Запада (с. 40—46), может стать базой для последующих разысканий в этом направлении.

В ходе критического обзора мнений о происхождении русского литературного языка едва ли не впервые обращено, наконец, внимание на то, что в более чем вековой полемике по этому вопросу «были смешены две по существу разные темы: проблема происхождения современного рус. литературного языка и проблема происхождения литературного языка древнейшей эпохи», между тем как «вопрос о происхождении современного рус. литературного языка отсылает нас» к языковым процессам конца XVII—XVIII в. и «отнюдь не равнозначен вопросу о происхождении рус. литературного языка Древней Руси» (с. 47; ср. [13]).

Центральное место в рассматриваемой книге занимает проблема становления и дальнейшей истории средневековой книжно-литературной нормы. В отличие от своих предшественников Б. А. Успенский понимает, что функцию литературного языка на Руси выполнял не старославянский, а церковнославянский русского извода, сложившийся в результате адаптации старославянского языка «на русской почве», в процессе которой он усваивает черты восточнославянского происхождения (с. 73). А поскольку, как это уже было подмечено автором ранее, к началу XII в. в целом ряде случаев «соответствующие восточнославянские формы начинают восприниматься как нормативные, тогда как южнославянские написания могут допускаться лишь в качестве вариативных», т. е. южнославянская орфография представляет собой допустимое отклонение от русской нормы» (см. [11, с. 34]), нормативные черты книжно-литературного языка Древней Руси (церковнославянского русской редакции) рассматриваются в их отношении к собственно старославянским (с. 84—128) и к тем особенностям древнерусской диалектной речи, которые остались за пределами этих норм (с. 129—180). При этом «вопрос о признаках, противопоставляющих ц.-сл. язык рус. редакции и рус. разговорный язык, не может решаться как вопрос генетический, т. е. не сводится к вопросу о юж.-сл. или вост.-сл. происхождении тех или иных языковых элементов» (с. 73), как это понималось на протяжении многих десятилетий. Поставленная автором проблема, отражающая достижения последних лет палеослаистики, требует коренного пересмотра устоявшейся методики анализа языковых фактов, извлекаемых из средневековых рукописей. Этому посвящен специальный раздел, в котором обсуждается техника создания рукописного текста в его отношении к языковым особенностям протографа, кодифицированному книжному произношению писцов-профессионалов и их родной повседневной речи (с. 73—83).

Скрупулезно анализируются условия и направления перестройки книжно-литературных норм в эпоху так называемого «второго южнославянского влияния» (с. 181—226) и в период «Никоновской справы» (с. 289—316). Историки восточнославянских литературных языков, несомненно, будут благодарны Б. А. Успенскому за этюд, посвященный характеристике позднесредневековой культурно-языковой ситуации в Юго-Западной Руси (на Украине и в Белоруссии), которая уже много лет привлекает его исследовательское внимание (с. 259—274). Вообще же эпоха позднего средневековья рассмотрена с привлечением новых рукописных и старопечатных источников и содержит ряд интересных наблюдений и выводов, которые еще потребуют всестороннего обсуждения. Но уже сейчас необходимо обсудить центральные теоретические вопросы истории русского литературного языка, изложение которых в книге Б. А. Успенского содержит ряд натяжек и недосмотров, порождающих неуверенность в адекватности его историко-лингвистических ин-

терпретаций, нередко по-новому освещающих эти вопросы, но не всегда убедительно.

Стремясь определить место церковнославянского языка в письменнo-литературном творчестве восточных славян, Б. А. Успенский естественно приходит к необходимости рассмотрения древнерусской культурно-языковой ситуации. Ее оценка, несомненно, требует выяснения т и п о л о г и и отношений между кодифицированным литературным языком и языком повседневного (бытового) общения. И автор, на первый взгляд, именно этому посвящает раздел, озаглавленный «Языковая ситуация и характер литературного языка» (с. 14 и далее). Однако решается эта проблема с позиций безоговорочного признания традиционного представления о церковнославянском языке (русского извода!) как «ином», южнославянском (ср. петит на с. 73), противопоставленном по своим структурным признакам «русскому» языку уже в XI—XII вв. При этом, сознавая, что «под рус. языком понимается в сущности совокупность различных вост.-сл. диалектов» (с. 50), автор даже не ставит вопроса, который в свое время так интересовал Н. С. Трубецкого: противостоял ли на начальном этапе своего функционирования церковнославянский язык славянским (в данном случае восточнославянским) диалектам так, как противостоял один язык другому, или так, как противостоит система кодифицированного литературного языка местному говору (см. [14, с. 57—65; 6, с. 221—227]; ср. [15, 16]). А рассматривая древнерусскую ситуацию как «языковую», а не культурно-языковую (см. выше примеч. 1), Б. А. Успенский заведомо устраняет из обсуждения ряд моментов, без учета которых решение поставленных вопросов не может быть убедительным. Поэтому и вывод о том, что «взаимоотношения ц.-сл. и рус. языков... строятся по модели диглоссии» (с. 20), подробно аргументированный уже в работе 1983 г. (см. [11]), вызвал бурную реакцию со стороны целого ряда историков русского языка, хотя большинство критиков этого вывода отвергает его, скорее, интуитивно, руководствуясь больше эмоциями, чем действительной необоснованностью позиции Б. А. Успенского (см. обзор [4, с. 53—58]).

Дело в том, что, не дифференцируя «языковой» и «культурно-языковой» ситуации, Б. А. Успенский не рассматривает типологии взаимоотношений между неродственными (!) языком культуры (и культа) и народно-разговорным, например, в ситуации сосуществования средневековой латыни и родного языка в различных странах Западной и Центральной Европы (хотя и упоминает о ней в иной связи, когда говорит, что «латынь выступала в функции литературного языка у поляков, но [мы] не можем сказать, что латынь была польским литературным языком» — с. 14), и в качестве примера двуязычия (в отличие от одноязычия и диглоссии) приводит... «французско-английское двуязычие в Канаде или русско-французское двуязычие в рус. дворянском социуме конца XVIII — начала XIX вв.» (с. 15), что никак не характеризует отношений между литературным языком и бытовой речью, ибо предлагаются примеры с «равноправными» языками, каждый из которых имеет (или имел) и литературный, и разговорный вариант. В качестве же примера одноязычия указывается «сосуществование литературного языка и диалекта» (там же), т. е. отношения совсем иного порядка, между прочим, типологически сходные с отношениями между книжно-славянским (начиная со старославянского) и любым славянским диалектом раннего средневековья, включая древнеморавские, древнеболгарские и древнерусские. Разве не к этому сводится признание: «Если ц.-сл. язык представлял собой определенную унифици-

рованную норму, то книжный язык в древнейший период дан нам не как единая система, а как совокупность различных диалектов. Для носителя языка в тот период было актуальным не вообще противопоставление ц.-сл. и рус. языка, но противопоставление книжного языка родному диалекту» (с. 129; разрядка моя.— Х. Г.).

Невнимание автора к типологии отношений в значительной степени обесценивает «диагностические признаки диглоссии», особенно в той их части, которые касаются «отличия от двуязычия», не рассмотренного в плане культурно-языковой ситуации. В самом деле: «При диглоссии книжный язык не может выступать в качестве средства разговорного общения, что полностью исключает его из сферы быта. Если в языковом коллективе оба сосуществующих языка могут использоваться в качестве средства разговорного общения, перед нами не диглоссия, а двуязычие» (с. 16; разрядка моя.— Х. Г.). Но разве средневековая латынь функционировала в Польше (воспользуемся примером Б. А. Успенского) «в сфере быта» — параллельно с польским языком? По крайней мере необходимо обсудить, корректно ли относить к таким случаям профессиональную «беседу» двух священнослужителей, дискуссии средневековых университетских профессоров или шуточные перепалки на ученой латыни в этнически разнородной студенческой среде.

Поскольку при диглоссии «контексты употребления» сосуществующих языков «характеризуются дополнительным распределением», продолжает Б. А. Успенский, «перевод с одного языка на другой оказывается в этих условиях принципиально невозможным. Из этого не следует, что одно и то же содержание нельзя выразить как на том, так и на другом языке; однако в этих условиях невозможно функционирование соотносящихся друг с другом параллельных текстов с одним содержанием...» (с. 17). Но разве до образования национального литературного языка польский и ученая латынь не находились в отношениях «дополнительного распределения» функций и был допустим (разрешен в отличие от Древней Руси) перевод сакрального или научного текста с латинского на польский или перевод польского житейского диалога на латынь? Тем не менее, вряд ли кто согласится, что в средневековой Польше (как и в Германии или Венгрии) по крайней мере до XIV в. существовала латинско-польская (латинско-немецкая и т. д.)... диглоссия, хотя «функции двух сосуществующих языков» до появления там опытов перевода на родной язык Священного Писания в известном смысле находились (как и при определении диглоссии Б. А. Успенским) «в дополнительном распределении, соответствующая функциям одного языка в одноязычном языковом коллективе. При этом речь идет о сосуществовании книжного языка, связанного с письменной традицией (и вообще непосредственно ассоциирующегося с областью специальной книжной культуры), и книжного языка, связанного с обывденной, повседневной жизнью» (с. 15). Более того, вполне соответствует латинско-польской (латинско-немецкой и т. д.) средневековой культурно(!)-языковой ситуации и разъяснение Б. А. Успенского, согласно которому диглоссия «имеет место там, где возникновение книжной культуры было связано с религиозным просвещением» (с. 19), что и происходило в эпоху средневековья в Северной Европе, где книжная латынь распространялась вместе с христианством.

В Западной и Центральной Европе до образования национальных литературных языков, конечно же, имела место ситуация латинско-немецкого, латинско-польского (и т. д.) культурно-бытового двуязычия, а не

диглоссии. Б. А. Успенский справедливо замечает, что «диглоссия как тип языковой ситуации в ряде моментов схожа с двуязычием, а в ряде моментов — с одноязычным сосуществованием литературного языка и диалекта» (с. 15). Однако ее «промежуточный» характер определяется отнюдь не замкнутым набором «диагностических» признаков, «работающих» только при условии, если культурно-языковую ситуацию не отделять от языковой (см. выше). И при культурно-бытовом двуязычии (именно так — в отличие от бытового или культурного двуязычия), и при «одноязычном сосуществовании литературного языка и диалекта» отношения между языком культуры (литературным) и языком бытового общения имеют ряд сходных (типологически универсальных) признаков (ср. [4, с. 52, 54—55]), которые варьируются на разных этапах культурно-этнического развития (в частности, не тождественны в эпоху средневековья и в наше время существования развитых наций) и требуют специального исследования. Когда Б. А. Успенский утверждает, например, что после крещения Руси «осуществляется пересадка ц.-сл. языка на рус. почву» (с. 14), то так же, думаю, можно сказать и о «пересадке латыни на польскую почву», но равным образом можно сказать, что и в России по мере распространения грамотности и народного просвещения кодифицированный русский литературный язык, разработанный М. В. Ломоносовым и А. С. Пушкиным, «пересаживается» на новгородскую, архангельскую, рязанскую и т. д. «почву», где вступает в такие же отношения с местными диалектами, как и церковнославянский — с древнерусскими, а ранее — с древнеморавскими и древнеболгарскими диалектами, порою и вместе противостоявшими языку славянской книжности не столько отдельными структурными признаками, сколько сферой применения, объемом лексики и несходством синтаксических конструкций, что обязательно и при одноязычной культурно-языковой ситуации. Не случайно летописец Нестор (рубеж XI—XII вв.), именующий язык Кирилла и Мефодия «словенским», поясняет, что на нем не только пишут, но и говорят в Моравии, в «Болгарех Дунайских» и на Руси: *аще и поляне звахуся, но словенская рѣчь бѣ* (под 898 г.). На это же указывает и цитируемое Б. А. Успенским свидетельство Иоанна Скалицы о том, что когда в 970 г. войска Святослава сражались с Византией, «имея союзниками болгар, венгров и печенегов, то русские выстраивались вместе с болгарами как говорящие на едином славянском языке» (с. 28).

Учитывая отмеченные обстоятельства, введение понятия диглоссии как «промежуточного» типа культурно-языковой ситуации следует признавать целесообразным прежде всего для тех случаев, когда в ее оценке возникают «разногласия» между исследователями и носителями языка: «если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык» (с. 15; разрядка моя. — Х. Г.). Двуязычие отличается от нее тем, что используемый в качестве орудия культуры язык не только исследователем, но и самим языковым коллективом оценивается как чужой (средневековая латынь в Польше или Германии), а одноязычная ситуация — тем, что не только языковым коллективом, но и исследователем язык культуры рассматривается как книжно-литературный вариант того языка, на котором осуществляется повседневное общение. Все остальные «диагностические» признаки не являются показателями диглоссии или иной культурно-языковой ситуации, а характеризуют местное своеобразие

культурно-исторической обстановки; при этом их значимость находится в прямой зависимости от того, считать ли «известным, что такое разные языки» в каждом конкретном случае, например, церковнославянский и древнерусский XI—XII вв. в любом из его диалектных разновидностей, помимо того что один из них — орудие культуры, а другой — средство бытового общения, обслуживающее при необходимости и нужды «обычного» права.

Абсолютизируя «диагностические признаки» диглоссии, Б. А. Успенский, вопреки собственной дефиниции этой культурно-языковой ситуации, настаивает, что в Московской Руси она сохранялась по крайней мере до середины XVII в. (с. 21 и др.), когда сменяется ситуацией двуязычия, ибо только в это время появляются указываемые автором переводы с церковнославянского на русский, пародийные тексты на церковнославянском (с. 318—321) и на нем «начинают разговаривать» (хотя речь явно идет не об использовании его в повседневном общении: см. с. 321 и далее). И это при том, что Б. А. Успенский отчетливо видит, что «к концу XIV в. произошли существенные изменения рус. языка, обусловившие перестройку отношений между ц.-сл. и рус. языком», так что «если в древнейший период книжный язык мог восприниматься в качестве кодифицированной разновидности живого языка, то теперь он оказывается ощутимо противопоставленным живой речи» (с. 191; разрядка моя. — Х. Г.), что, добавлю, и предопределило процесс так называемого «второго южнославянского влияния» (см. далее). Но ведь «перестройка отношений между ц.-сл. и рус. языком» в сознании(!) носителей языка — это уже не «предпосылки для перехода от церковнославянско-русской диглоссии к церковнославянско-русскому двуязычию» (с. 195), а сам переход, если теперь «рус. язык начинает фиксироваться в языковом сознании как особая языковая система, противопоставленная ц.-сл. языку» (ср. выше определение диглоссии), а «словари этих языков образуют параллельные ряды, что в принципе определяет возможность перевода с языка на язык (невозможного при диглоссии, но естественного при двуязычии)» (там же). Очевидно, что при таком признании первые зафиксированные нами(!) переводы надо воспринимать как следствие разрушения прежней культурно-языковой ситуации, а не запоздалое его начало.

Оформление (а не предпосылки!) новой ситуации с рубежа XV—XVI вв. отражено в прямых высказываниях тогдашних книжников, которые, несмотря на терминологический разнобой, выводят истоки своего литературного языка за пределы России (см. [6, с. 108—127]). Результатом этой перестройки является и отказ от текстологического подхода к кодификации книжно-литературного языка (ср. выше) и переход к обучению этому языку по грамматикам, появляющимся с XVI (а не с конца XVII) столетия. Наконец, вопреки одному из важнейших «диагностических» признаков диглоссии, не позднее середины XVI в. происходит нормализация «приказного» языка Московской Руси, ориентированного на московское просторечие, но не тождественного ему и по особенностям своей структуры соотнесенного с церковнославянским. Уже в XVI в. на этот язык был переведен «Назиратель», написаны хозяйственные главы «Домостроя», а позднее — Уложение 1649 г., отрывки из которого Б. А. Успенский цитирует как примеры перевода с церковнославянского (с. 318—319), и знаменитое сочинение Г. К. Котошихина (кроме вводной исторической справки), не говоря уже об использовании его в делопроизводстве, начиная с челобитных и кончая официальными отчетами послов.

В этот период «приказному языку» уделяют внимание даже риторики, характеризующие его как язык «писем, грамот и глаголов Кикероновых» (см. по сп. 1620 г. [17]). Наконец, именно он вступал во взаимодействие с поздним церковнославянским, образуя своеобразный книжно-литературный язык оригинальных и переводных произведений весьма широкого диапазона (от житий до светских бытовых повестей), который Н. И. Толстой предложил называть «гибридным» (см. [6, с. 54—55 и далее]). Этот гибридный книжный язык, позднее сыгравший заметную роль в формировании русского литературного языка (см. специально [18]), в XVI—XVII вв., опять-таки вопреки разрабатываемой Б. А. Успенским схеме (с. 227—274), по сфере функционирования представлял собой известный аналог юго-западной «простой русской мове», что признается автором только по отношению к языку Псалтыри в переводе А. Фирсова 1683 г. (с. 330—331), т. е. с того момента, когда на нем фиксируется один из канонических текстов.

По сути дела игнорируя феномен гибридного церковнославянского как определенное направление развития литературного языка в Московской Руси (даже если «он воспринимался как допустимое отклонение от норм книжного языка» — с. 330), Б. А. Успенский тем не менее постоянно ссылается на его особенности, иллюстрируя языковые процессы... эпохи Киевской Руси (см. с. 60—65, 69, 149—169 и др.). Для оправдания этого приема автору приходится пренебрегать собственными наблюдениями, обнаруживающими существенную перестройку языкового сознания русских книжников на рубеже XIV—XV вв. (см. выше): «поскольку в Моск. Руси сохраняется ситуация диглоссии (см. п. 14.1), мы вправе вообще привлекать к рассмотрению относительно поздние факты, проецируя их на древнейшее языковое состояние» (с. 60), которое по сути дела и характеризуется при опоре на эти «относительно поздние» факты. Вероятно, большая хронологическая строгость и учет более широкого круга книжных текстов (в смысле их жанрового разнообразия) позволили бы автору не только фактически констатировать, но и на уровне обобщений признать, что культурно-языковая ситуация в Московской Руси после «второго южнославянского влияния» существенно отличается от «гетерогенного одноязычия» раннего средневековья (ср. [3, примеч. 7 на с. 35]). Ведь Б. А. Успенский не отрицает, что сам факт функционирования «сниженного» ц.-слав. языка, признаваемого им только с 1683 г. (когда на нем появляется перевод Псалтыри), «имеет исключительное значение для последующей эволюции рус. литературного языка», ибо «он свидетельствует о превращении церковнославянско-рус. диглоссии в церковнославянско-рус. двуязычие» (с. 332). А в этом контексте признание, что уже язык ряда житий и повестей XVI в. является гибридным (см. [18, с. 58]), приобретает принципиальное значение.

«Период диглоссии», охватывающий, по Б. А. Успенскому, всю эпоху средневековья (XI—XVII вв.), членится им на «три основных этапа, связанных с тремя последовательными культурными влияниями», во всех трех случаях именуемыми «южнославянскими» (с. 21). В этой периодизации особенно наглядно проявляется пристрастие автора к построению логически организованных схем, которым далеко не всегда соответствуют отмечаемые им же факты и процессы языковой истории (ср. выше замечания о переходе диглоссии в двуязычие в Московской Руси).

Прецедентом для «первого» и «третьего южнославянского влияния» послужило введенное в свое время А. И. Соболевским название «второе южнославянское влияние», которым он обозначил выявленную им пере-

стройку системы норм языка церковных книг на рубеже XIV—XV вв. Признавая, что эта книжная справа «сочетается с почти полным отсутствием прямых исторических свидетельств относительно южнославянско-рус. культурных контактов», в связи с чем «мы имеем много недоказанных предположений и недостоверных утверждений, которые, повторяясь из книги в книгу, приобретают характер наукообразной мифологии» (с. 181), Б. А. Успенский тем не менее не только сохраняет это условное обозначение (против чего можно было бы и не возражать, поскольку «второе южнославянское влияние» освящено авторитетом А. А. Соболевского и более чем столетней научной традицией), но и «подгоняет» под него другие кардинальные события истории восточнославянской средневековой книжности, превращая таким образом чисто условное наименование в устойчивое терминологическое сочетание, приобретающее оттенок соответствия существу обозначаемого.

Первым «южнославянским влиянием» обозначен процесс становления древнерусской письменной культуры в связи с крещением Древней Руси. Процесс этот, если говорить о его лингвистической стороне, заключался в усвоении славяноязычным населением Руси созданного солунскими братьями языка церковных книг в качестве собственного орудия культуры. Вспомним, однако, что язык этот, первоначально, действительно, ориентированный на один из южнославянских диалектов, «окончательно сложился не в диалектном ареале с центром в Солуне, а под пером Мефодия и его сподвижников по переводческой и литературно-творческой деятельности, осуществлявшейся в славянских поселениях Среднего Дуная, прежде всего — в Великой Моравии», а также в Паннонии [19, с. 33]. Да и на Русь первые книги на старославянском языке поступают прежде всего из Византии (включая Херсонес / Корсунь — см. [12, с. 16—17]; ср. с. 25—27), а затем, видимо, из афонских и западнославянских монастырей (ср. с. 40—46) и уже с начала XI в. создаются в самой Киевской Руси (см. с. 29—32). Что же касается «влияния», то на Русь в тот период влиять было... не на что (если Б. А. Успенский не принимает известного построения С. П. Обнорского, согласно которому уже существовавший древнерусский литературный язык в период крещения испытал «некоторое влияние» со стороны церковнославянского — см. [20]), но можно говорить о влиянии и местной, восточнославянской речи на язык церковных книг, что и имело результатом сложение русского извода церковнославянского языка, как это подробно рассмотрено в 1-й части книги.

Отнюдь не внешним воздействием, а чисто внутренними, как признает Б. А. Успенский, причинами был вызван и окруженный «наукообразной мифологией» процесс «реставрации» норм книжно-славянского языка, начавшийся с конца XIV в. (см. выше). По сути дела «речь шла не о специальном заимствовании чужой нормы, а о возвращении к общей ц.-сл. норме, к исходному состоянию ц.-сл. языка», а потому «стремление рус. книжников не заимствовать чужую норму, а воссоздать свою определяет их ориентацию не на балканские страны, а на интернациональные и, в частности, межславянские культурные центры, такие, как Константинополь и Афон» (с. 184). По существу, как постепенно выясняется, «второе юж.-сл. влияние непосредственно связано с византизацией ц.-сл. языка и церковной культуры» (с. 185 и далее), а не с их «южнославянизацией». Что же касается историко-культурной значимости этого предпринятия, то «для рус. книжности, однако, имели значение не те или иные имена и центры, а самый прецедент нормализации. Действительно, зна-

чение второго юж-сл. влияния заключается именно в начале последовательной книжной sprawy на Руси» (с. 183). И тем не менее — «влияние», да еще «южнославянское», поскольку новые нормы (кстати сказать, не нашедшие отражения во многих памятниках гибридного церковнославянского!) в каких-то случаях совпали с особенностями болгарских и сербских рукописей того времени, которые, вероятно, служили образцами для московских кодификаторов.

Термин «влияние» в работах Б. А. Успенского используется как универсальное определение едва ли не любых новаций в истории русской культуры. Справедливо отмечая, что «радикальные изменения литературного языка всякий раз связаны с оформлением «новой системы культурных ценностей» (с. 10), автор не допускает, что эти новые ценности могут сформироваться в ходе «внутренней» эволюции общественного сознания, и связывает их «с изменением культурной ориентации» в пространстве, в связи с чем история литературного языка — это по сути дела «история культурных влияний» (там же), причем «внешние культурные влияния могут фактически иметь место как при экстравертной, так и при интравертной ориентации» (с. 12). К последним случаям отнесены не только кальки, но и обращение к уже существующим моделям отношений — не с целью их заимствования, а в качестве аргумента, подтверждающего перспективность предлагаемого решения, как это наблюдается, например, в XVIII в., когда русские филологи, знакомясь с культурно-языковой ситуацией передовых стран Европы, обнаруживают там, как им кажется, готовые ответы на вопросы, волнующие их в новых условиях культурно-исторического развития, и предлагают писать «простым русским словом, то есть каковым мы меж собою говорим», подобно французам, немцам или итальянцам (см. [21, с. 73—76 и др.]). Этот феномен Б. А. Успенский обозначает как «западноевропейское влияние», хотя и признает, что «культурная и, в частности, языковая ситуация в России существенно отличалась от западной, и прямое перенесение западных схем было в принципе невозможным», так что решение стоявших перед русским обществом задач «требовало... подлинно творческих усилий» [21, с. 14]. «Влияние» усматривается и в случаях вполне «паритетного» взаимодействия культур. Так, указывая на культурные связи восточных и западных славян в эпоху раннего средневековья и полагая, что в установлении своеобразной (поразительно симметричной!) «корреляции» между культами свв. Бориса и Глеба и св. Ольги на Западе и св. Вячеслава и св. Людмилы на Востоке отразилась идея «этнического и религиозно-культурного единства славян — вполне актуальная, видимо, для славянского самосознания XI в.» (с. 44), автор определяет и это явление как... «западное влияние» на формирование ранней древнерусской христианской культуры (с. 40—46).

О причинах столь однозначного толкования самых различных типов отношений догадаться нетрудно. Целиком сосредоточиваясь на своем объекте, автор обращает внимание на внешние взаимосвязи лишь постольку, поскольку они могли оставить тот или иной след в русской культурной или языковой традиции, т. е. видит только результат «воздействия» на изучаемый им объект и не интересуется случаями, когда он сам воздействует на культурное развитие соседних народов. Поэтому, например, и следы культа свв. Бориса и Глеба и св. Ольги в Чехии для него представляют интерес не как отражение восточнославянского «влияния» на раннюю западнославянскую христианскую культуру, а как подтверждение реальности культурных связей между славянским Востоком и За-

падом, которые могли бы объяснить тот или иной феномен восточнославянской христианской традиции. В результате работы Б. А. Успенского, посвященные различным событиям отечественной культуры, насыщены всякого рода «влияниями» со стороны: латинским, греческим/византийским, южнославянскими, западным, юго-западнорусским, западноевропейским и т. д. Автора не смущает, что своими однонаправленными оценками он шокирует читателя, знающего (как, впрочем, и сам Б. А. Успенский), что результатом, например, «второго южнославянского влияния» (на русскую культуру?!) явилась все усиливающаяся ориентация... болгарских и сербских книжников на церковнославянский язык русского извода (см. опыт обобщения под красноречивым названием «Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков», где убедительно показана «инославянская рецепция русской языковой традиции» [18, с. 49 и далее]), так что к XV в. среди южнославянских филологов становится популярным мнение, будто в основу церковнославянского лег «тончайший и краснейший» русский язык (см. [6, с. 123], ср. с. 186).

Что же касается «третьего южнославянского влияния» (с. 275 и далее), то к южным славянам оно вообще не имеет отношения. Речь идет об активном участии выходцев с Украины и Белоруссии, т. е. восточных, а не южных славян (хотя Киев, конечно, южнее Москвы, а Вильна и Острог — южнее Новгорода), в культурных предприятиях, осуществлявшихся с середины XVII в. в Московской Руси. События этого этапа рассмотрены в книге очень внимательно, с привлечением большого фактического материала, нередко впервые получающего историко-лингвистическую интерпретацию. Однако из-за стремления автора до конца выдерживать сконструированную для всего восточнославянского средневековья схему культурно-языкового развития ряд важных событий «третьего южнославянского влияния» как бы отходит в тень и не отражается на его общей характеристике.

Если признать, что «третье юж.-сл. влияние проявилось прежде всего в книжных реформах патр. Никона» (с. 275), то его официальным началом следует считать постановление Собора 1654 г., потребовавшего церковные книги «достойно и праведно исправить против старых и греческих» (см. [22, с. 6]). Участие в этой работе культурных деятелей, связанных своим происхождением с Юго-Западной Русью, и использование ими церковных книг киевского, острожского и виленского издания в качестве образцов (ср. с. 291 и др.), сопровождавшееся появлением в книгах московской печати ряда принятых в этих изданиях особенностей, дают достаточно поводов говорить о юго-западном (но не о южнославянском!) влиянии на культурно-языковые преобразования, происходившие в Московской Руси во второй половине XVII в. В действительности, однако, это влияние сказывалось прежде всего на общей культурно-языковой ориентации московских книжников, для которых, как это убедительно показывает Б. А. Успенский, источником книжной справки был греческий язык Священного Писания (с. 301—312), причем именно язык, а не текст. «Ориентация на греч. грамматические модели была вполне сознательной (в отличие от ориентации на ю-з-рус. языковые нормы) и воспринималась книжниками второй пол. XVII в. как необходимое условие адекватной передачи содержания греч. текста. Поэтому они постоянно ссылаются на греч. грамматику в обоснование правомерности своих исправлений» (с. 311). Еще чаще сторонники реформы ссылаются на «Граматику» М. Смотрицкого (с. 277, 291—293), являвшуюся для них главным авто-

ритетом при решении спорных вопросов языковой нормы (см. об этом специально [22]). И это оказывается самым ярким и самым существенным признаком рассматриваемого этапа истории русского литературного языка, определившим качественно новое направление в его дальнейшем развитии.

Полагая, что ссылки на постановление об исправлении книг «по старым и греческим» текстам (см. выше) были чем-то вроде «дипломатических заявлений» Никона и его сторонников, в действительности равнявшихся на совсем иные образцы (с. 290—291), Б. А. Успенский не дифференцирует общих установок книжной sprawy и их реализации конкретными исполнителями. Действительно, задача перед ними была поставлена вполне традиционная для эпохи средневековья; но на этот раз исправлением книг занимались люди, смотревшие на свою задачу как просветители, если еще не расставшиеся, то во всяком случае явно «перераставшие» средневековые традиции. И к решению поставленных перед ними задач они подходили уже не как «текстологи» прежних времен (каковыми в их время оставались старообрядцы), а как подлинные филологи, хорошо понимавшие нетождественность содержания и языка сакральных текстов (Б. А. Успенский обращает на эту ситуацию внимание в связи с распространением среди московских справщиков конвенционального отношения к языковому знаку — см. с. 285—288) и убежденные в том, что исправить накопившиеся за столетия ошибки переписчиков священных книг могут только люди, искусные в грамматике. См. хотя бы разъяснения патриарха Иоакима во время дискуссии со старообрядцами в Грановитой палате в 1682 г.: «А вера у нас православная старого православия, греческого закона, в ней же Святии Отцы Богу угодили; исправлена с греческих и с наших харатейных книг грамматике, и мы от себе ничего не внесохом в Церковь Божию, но все от тех писаний. Вы же грамматического разума не коснулися и не знаете, какову силу в себе содержит» (см. [22, с. 6]). В свете этих разъяснений, которые можно найти в сочинениях целого ряда сторонников книжной sprawy (см. сводку материалов о спорах «никониан» со старообрядцами, в которых ссылки на «Граматику» М. Смотрицкого являются главным аргументом при объяснении тех или иных языковых исправлений в конфессиональных текстах [22, с. 6—11]), встречающиеся в подготовленных ими для набора ковычных экземплярах церковных книг, наряду со ссылками на правила «Граматики», пометы типа *киевск.* или *лвов.* можно воспринимать не как указания на источник исправления (ср. с. 291), а как отсылки к прецеденту, авторитету, где предлагаемое исправление уже реализовано.

Книжная справа второй половины XVII в. и сопровождающие ее процессы — это, конечно, не начало становления двуязычия (ср. с. 317), а начало обособления церковнославянского именно как языка церковных книг, что после петровских реформ окончательно изолировало его от светского литературного языка, формирование которого (при активном участии гибридного церковнославянского языка светских сочинений и переводов) как раз и начинается с этого времени (см. [23]). По сути дела именно это имеет в виду Б. А. Успенский, когда констатирует, что в результате «третьего южнославянского влияния» церковнославянский язык «усваивает те функции, которые были свойственны ц.-сл. языку Ю.-З. Руси», включая и то, что «на ц.-сл. языке начинают разговаривать» (с. 321), ибо речь идет не о чем другом, как об устной языковой практике семинаристов и ученых беседах (с. 321—323). Все это действительно указывает на ситуацию двуязычия, но не «равноправного», а такого, когда

язык традиционной средневековой книжности, не желая сдавать своих позиций формирующемуся новому литературному языку, стремится обособиться от него как сакральный и все еще авторитетный по крайней мере в кругу клерикальной учености.

Книга Б. А. Успенского — явление в исторической русистике эпохальное. Это первое систематическое исследование процесса становления и дальнейшей истории строгой литературно-языковой нормы, без знания которой любые оценки средневековых памятников письменности в плане их значимости для истории русского литературного языка остаются умозрительными, не аргументированными фактически. Вместе с тем это исследование показало, что исчерпывающая и убедительная характеристика культурно-языковой ситуации на разных этапах истории восточных славян немыслима без столь же тщательного изучения языка различных типов памятников словесного творчества, вплоть до тех, язык которых для своего времени не будет признан литературным. Наконец, материал книги убеждает, что особенно внимательно должен быть изучен «простой» — гибридный церковнославянский язык оригинальных произведений общественной значимости, в той или иной степени зависевший от языка церковных книг, в какие-то периоды истории производящий впечатление отклоняющегося от строгой нормы, но в эпоху позднего средневековья явно определявший основное направление литературно-языкового развития в России. В конечном счете «в определенной перспективе создание русского литературного языка нового типа может рассматриваться как ряд последовательных трансформаций гибридного славянского языка» [23, с. 83], постоянно находившегося в тесном контакте с языком церковных книг и представлявшего собой его неоднозначную реализацию в различных жанрах оригинального литературного творчества, оставшегося за пределами исследовательского внимания Б. А. Успенского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. 2-е изд. М., 1938.
2. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. 3-е изд. М., 1982. С. 10.
3. Гиппиус А. А., Страхов А. Б., Страхова О. Б. Теория церковнославянского-русской диглоссии и ее критики // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1988. № 5.
4. Хабургаев Г. А. Дискуссионные вопросы истории русского литературного языка (древнерусский период) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1988. № 2.
5. Едличка А. Проблематика нормы и кодификации литературного языка в отношении к типу литературного языка // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976. С. 19.
6. Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
7. Алексеев А. А. Пути стабилизации языковой нормы в России XI—XVI вв. // ВЯ. 1987. № 2. С. 34.
8. Режнева М. Л. Проблема грамматической нормы в истории русского литературного языка: Автореф. ... докт. филол. наук М., 1989.
9. Хабургаев Г. А., Рюжина О. Л. Глагольные формы в языке художественной литературы Московской Руси XVII в. (К вопросу о понятии «литературности» в предпетровскую эпоху) // ФН. 1971. № 4. С. 65—66.
10. Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975. С. 349.
11. Успенский Б. А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
12. Хабургаев Г. А. Становление древнерусской письменной культуры в связи с крещением Руси в 988 г. // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1988. № 5. С. 16—17.
13. Хабургаев Г. А. Старославянский — церковнославянский — русский литературный // История русского языка в древнейший период (Вопросы русского языкознания. Вып. 5). М., 1984. С. 27—28.

14. Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре // Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания: Собр. статей. [Париж], 1927.
15. Lunt H. G. On the language of Old Rus: some questions and suggestions // R Ling. 1975. V. 2.
16. Lunt H. G. On the relationship of Old Church Slavonic to the written language of Early Rus' // R Ling. 1987. V. 11.
17. Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., [1970]. С. 185.
18. Живов В. М. Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988.
19. Хабургаев Г. А. Старославянский как язык средневековой славянской культуры // Актуальные проблемы славянского языкознания. М., 1988. С. 33.
20. Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946. С. 6—7.
21. Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
22. Сиромата В. Г. Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII в. и «Грамматика» М. Смотрицкого // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1979. № 1.
23. Живов В. М. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // Советское славяноведение. 1985. № 3.